



Сергей Патрушев

Река
мёртвых

Сергей Патрушев

Река мёртвых

<https://litres.ru/74423517>

SelfPub; 2026

Аннотация

Пронзительная история о любви, тьме и надежде, рождённая на стыке тёмного фэнтези и поэтической притчи. Он северный странник с ледяным сердцем, убивающий чудовищ и бегущий от самого себя.

Она та, кто приходит на рассвете, неся в себе холод подземных рек и память о потерянном свете. Их встреча не случайна: две искалеченные души, обречённые слиться в одну. Сквозь кровь и смерть они идут к исцелению через страх, потери, лепестки роз и крик души.

Это сага о том, что даже после самой тёмной ночи бывает рассвет, а любовь способна не только разрушать, но и воскрешать. История, полная грозной красоты, тишины и надежды.

Содержание

Она явилась на рассвете.

4

Конец ознакомительного фрагмента.

37

Река мёртвых

Она явилась на рассвете.

Проскользнула бесшумно, не потревожив воздуха, всплыла в комнату, будто тень или наваждение, и единственным свидетельством её движения был шелест шёлковой сорочки, скользившей по телу. Этот звук — тоньше вздоха, тише падения пылинки — выдернул охотника из тягучего полузабытья, в котором он покачивался, точно утопленник в тёмной воде, застрявший между илистым дном и лунной дорожкой на поверхности.

Он не шелохнулся. Даже дыхание не сбилось. Она подступила ближе, стянула с плеч сорочку, коленом неуверенно коснулась края ложа. Он следил за ней сквозь ресницы, оставаясь неподвижным, как хищник перед броском. Она взобралась на постель, оседлала его бёдра, наклонилась, опираясь на напряжённые руки, и её распущенные волосы мазнули по его лицу. Волосы пахли дымом и полыньёю. Она нетерпеливо и вместе с тем решительно коснулась губами его века, скулы, уголка рта. Он улыбнулся — медленно, едва заметно — и бережно перехватил её запястья. Она выпрямилась, ускользая, подсвеченная первыми лучами зари, размы-

тая в утреннем мареве, словно видение. Он попытался приподняться, но она надавила ладонями ему на грудь, останавливая, и лёгким движением бёдер добилась отклика.

Он откликнулся. Теперь она уже не избегала его ладоней — откинула голову, встряхнула волосами. Кожа её была холодной и невероятно гладкой, как речная галька. Глаза, которые он увидел, когда она приблизила лицо, оказались тёмными, бездонными — как у утопленницы.

Раскачиваясь в такт, он погрузился в полынное море, а оно всколыхнулось, зашумело, пошло волнами.

Позже рассказывали, что человек этот пришёл с востока, от Рыбных ворот. Шёл пешком, а навьюченную кобылу вёл под уздцы. Вечерело, лавки кожевников и торговцев солью уже запирали ставни, и улица пустела. Было тепло, но на плечах незнакомца лежал тёмный плащ. Он сразу бросался в глаза.

Путник остановился перед корчмой «Гнилой зуб», постоял, вслушиваясь в гомон. Корчма, как всегда в этот час, была забита до отказа.

Но незнакомец не вошёл. Он повёл лошадь дальше, вниз по улице, к другой корчме, поменьше и потише, что звалась

«Под шукой». Здесь было пусто, и не зря — место имело дурную славу. Хозяин оторвался от бочки с кислой капустой, окинул гостя внимательным взглядом. Тот, не снимая плаща, стоял у стойки — неподвижно, прямо, молча.

— Чего подать?

— Пива, — произнёс чужак. Голос у него был низкий, с хрипотцой.

Корчмарь вытер ладони о фартук и нацедил в щербатую глиняную кружку.

Незнакомец не был стар, но волосы его отливали пеплом. Под плащом угадывалась потёртая кожаная куртка со шнуровкой на груди и рукавах. Когда он откинул полу, стало видно: за спиной у него висит меч. Не то чтобы это кого-то удивляло — в этих краях оружие носили почти все, — но никто не таскал клинок за спиной, будто косу или арбалет. Гость не сел, хотя свободных столов хватало. Он остался у стойки, разглядывая корчмаря с холодным интересом.

— Нужна комната на ночь, — сказал он, отхлебнув пива.

— Нету, — буркнул хозяин, покосившись на грязные сапоги пришельца. — Ступайте в «Гнилой зуб».

— Я бы хотел остаться здесь.

— Сказал же — нету. — Корчмарь уже разобрал акцент гостя. Северянин.

— Я заплачу, — тихо, почти виновато произнёс чужак.

Вот тогда-то всё и началось. Верзила с изрытым оспой лицом, с самого появления чужака сверливший его мутным взглядом, поднялся и двинулся к стойке. Двое его приятелей встали чуть поодаль, отрезая путь.

— Оглох, северная падаль? — рявкнул верзила, подступая вплотную. — Местов нету. Нам тут таких не надобно. Это вам не дикий лес.

Незнакомец взял кружку и отодвинулся. Глянул на хозяйина, но тот отвёл глаза. Защищать чужака он не собирался. Да и кто станет заступаться за северянина?

— Все вы там, за перевалом, — конокрады и душегубы, — продолжал рябой, от которого разило кислым пивом и злобой. — Слышишь, что говорю, падалыщик?

— Да он не слышит. У него уши навозом забиты, — оскла-

бился один из тех, что стояли позади. Второй коротко хохотнул.

— Плати и выметайся, — процедил верзила.

Только теперь незнакомец поднял на него глаза.

— Пиво допью.

— Мы поможем, — просипел рябой. Он вышиб у чужака кружку и одновременно вцепился левой рукой ему в плечо, а правой ухватил за ремень, наискось пересекавший грудь. Стоявший позади замахнулся. Чужак крутанулся на месте, увлекая верзилу за собой. Меч с тихим шелестом вышел из ножен и коротко блеснул в свете масляных ламп. Началось. Крики. Грохот опрокинутой лавки. Звон глиняной посуды. Кто-то рванулся к двери, кто-то загородился столом. Корчмарь — губы его тряслись — смотрел, как рябой, зажимая разрубленное лицо, медленно сползает вниз, цепляясь пальцами за край стойки, будто тонет. Двое его приятелей лежали на полу. Один не двигался. Второй сучил ногами, хватая ртом воздух, а под ним растекалась тёмная лужа. В воздухе повис тонкий, сверлящий виски женский крик. Корчмаря вывернуло.

Незнакомец отступил к стене, собранный, насторожен-

ный. Меч держал обеими руками, слегка покачивая остриём. Никто не шевелился. Ужас, как холодная грязь, залепил лица, сковал руки, заткнул рты.

С грохотом распахнулась дверь, в корчму ввалились трое стражников. Видимо, оказались неподалёку. Увидев тела, они тут же выхватили клинки.

— Брось меч! — выкрикнул один, срываясь на фальцет.
— Брось, сволочь! Пойдёшь с нами!

Второй пнул скамью, мешавшую подойти сбоку.

— Беги за людьми, Крыс! — крикнул он тому, что стоял у двери.

— Не нужно, — сказал незнакомец, опуская клинок. — Я сам пойду.

— Пойдёшь, пойдёшь, сукин сын, только на аркане! — заорал тот, у кого срывался голос. — Бросай меч, не то башку снесу!

Северянин выпрямился. Перехватил меч под левую руку, а правой — вытянув её в сторону стражи — начертал в воздухе сложный знак. На кожаных манжетах, доходивших ему

до локтей, вспыхнули вышитые серебряной нитью руны.

Стражники отшатнулись, закрывая лица руками. Кто-то из посетителей вскочил, кто-то опрометью кинулся к выходу. Женщина снова завизжала — пронзительно, надрывно.

— Я сам пойду, — повторил чужак, и голос его прозвенел сталью. — А вы трое — впереди. Проводите к наместнику. Я дороги не знаю.

— Да, господин, — пробормотал стражник, опустив голову, и, боязливо озираясь, двинулся к выходу. Остальные, пятаясь, вышли следом. Незнакомец убрал меч в ножны, кинжал за голенище и шагнул за ними. Когда он проходил мимо столов, гости прикрывали лица полами курток.

Они шли сквозь просыпающийся город. Небо на востоке уже наливалось тревожной желтизной, но улицы ещё лежали в густой синеве. Сапоги стражников гулко били по брусчатке, а охотник ступал почти бесшумно, словно зверь, которого ведут на заклание, но который ещё не решил — покориться или рвануть.

Он не смотрел по сторонам. Запахи утреннего города — мокрый камень, печной дым, гниющие отбросы — обступали его, но он не замечал. В голове всё ещё гудело эхо той,

утренней, с полынными волосами. Её кожа, холодная, как речной туман. Её дыхание на его губах. Он тряхнул головой, отгоняя наваждение, и сосредоточился на пути.

У дома наместника — приземистого, сложенного из серого камня, с узкими окнами-бойницами — их ждали. Двое стражников у входа скрестили алебарды, но, узнав своих, расступились. Внутри пахло сыростью и воском. Факелы на стенах чадили, отбрасывая пляшущие тени.

— Жди здесь, — бросил один из конвоиров, исчезая за дверью.

Охотник остался стоять в полумраке, скрестив руки на груди. Плащ его был всё ещё мокрым от росы, и с него капало на каменный пол — тихо, размеренно, как удары сердца.

Дверь скрипнула. Вышел не стражник — женщина.

Она появилась из темноты коридора, как выплывают из глубины водоросли — медленно, неумолимо. Высокая, гибкая, в тёмном платье до пола, с серебряной цепочкой на тонкой шее. Волосы её были собраны в тугий узел, но несколько прядей выбились и теперь касались висков, словно нарисованные углём. Она не смотрела на него — смотрела сквозь, будто его здесь и не было. Но когда её глаза наконец встре-

тились с его, охотник почувствовал, как внутри что-то оборвалось — коротко, резко, как тетива.

Она была той самой.

Не могла быть, но была. Те же бездонные, тёмные, как омут, глаза. Тот же излом бровей. Тот же едва уловимый запах — нет, не полынь. Что-то другое. Дым и полынь — это было утром. Сейчас пахло воском, старой бумагой и — он готов был поклясться — холодной росой на траве. Она прошла мимо, не удостоив его взглядом, но в последний миг — едва заметно — уголок её губ дрогнул. Словно она знала. Словно помнила.

Охотник не пошевелился. Только сжал зубы так, что заныло в челюстях.

— К наместнику, — вынырнул из двери стражник. — Живо.

Он шагнул в кабинет, но мысли его остались в коридоре, рядом с этой женщиной. С её холодом, который он уже однажды чувствовал. С её запахом, который не должен был знать.

Наместник сидел за дубовым столом, заваленным свитками. Полный, с седеющей бородой и цепкими глазами, он не

предложил ни сесть, ни воды. Только оглядел гостя с головы до ног, задержавшись на рукояти меча, что торчала из-за плеча.

— Говорят, ты уложил троих в «Под щукой», — произнёс он без предисловий. Голос был сухой, как осенняя листва.
— Это так?

— Они сами напросились, — ответил охотник ровно.

— Это не ответ.

— Это правда.

Наместник усмехнулся, но усмешка вышла кривой. Он откинулся в кресле, сложив руки на животе.

— Ты охотник. Я слышал о таких. С севера. Вы умеете убивать чудовищ.

— Умею.

— Тогда у меня для тебя работа.

Охотник молчал. Взгляд его блуждал по кабинету — по книгам, по гобеленам, по серебряному кубку на краю стола,

— но на самом деле он всё ещё видел её. Ту, в коридоре. И ту, что пришла на рассвете.

— Работа простая, — продолжал наместник. — В подземельях под городом завелась тварь. Люди пропадают. Сначала бродяги, теперь уже и стража. Мне нужен тот, кто спустится и не вернётся безумным.

— Почему вы решили, что я не вернусь безумным?

Наместник пожевал губами.

— А ты, я вижу, уже безумен, северянин. — Он помолчал.
— Но в твоём безумии есть порядок. Это ценно.

Охотник ничего не ответил. Он думал о другом: о том, что женщина в коридоре не смотрела на него, но он чувствовал её взгляд на себе, как прикосновение. О том, что она была холодна, как утренний туман, и так же неуловима.

— Я возьмусь, — сказал он наконец. — Но у меня есть условие.

— Какое?

— Сначала скажите, кто та женщина, что только что вы-

шла отсюда.

Наместник прищурился. В комнате повисла тишина — вязкая, как смола.

— Зачем она тебе?

— Просто ответьте.

Наместник усмехнулся снова, на этот раз злее.

— Это моя дочь, — произнёс он медленно. — И она не про твою честь, северянин. Занимайся тем, за что тебе платят.

Охотник кивнул, но внутри у него всё сжалось. Дочь наместника. Значит, она не была видением. Она была настоящей. И она пахла росой, а не полыньёю. Но глаза — глаза были те же.

Он вышел из кабинета, и в коридоре снова встретил её. Она стояла у окна, подставив лицо первым лучам, и казалось, что свет проходит сквозь неё, делая её прозрачной, нереальной.

— Вы охотник, — произнесла она, не оборачиваясь. Голос

был тихий, но прозвучал как удар колокола.

— Да.

— Говорят, вы убиваете тех, кого не понимаете.

Он подошёл ближе — медленно, осторожно, как к дикому зверю. Остановился в шаге.

— Я убиваю тех, кто убивает других.

Она повернулась. Теперь её глаза смотрели прямо в его, и охотник снова почувствовал это — ледяное пламя, пронзающее грудь.

— А если тварь в подземелье просто хочет любви?

Он не нашёлся с ответом. Она улыбнулась — печально и странно — и, подобрав подол, пошла прочь, оставив после себя только запах холодной росы и это невозможное «любви», повисшее в воздухе, как обещание.

Охотник долго стоял у окна, глядя на просыпающийся город, и чувствовал, как в сердце, давно привыкшем к мёртвой тишине, что-то медленно, болезненно прорастает.

Той ночью он спустился в подземелье, но прежде — долго не мог уснуть, ворочаясь на жёсткой койке, и перед глазами стояла она. Та, что пришла на рассвете. Та, что встретилась в коридоре. Теперь он знал: это была одна и та же женщина. И она не была человеком.

Но он всё равно пошёл. Потому что должен был. И потому что где-то глубоко, под слоем пыли и крови, он хотел снова увидеть её — даже если для этого придётся спуститься во тьму.

Он спускался в подземелье один.

Факел, что выдал ему тюремный пристав, горел неровно — то вспыхивал, то почти угасал, словно испуганный, трепещущий от каждого сквозняка, будто само пламя не хотело следовать за ним в эту гнилую, прожорливую темноту.

Ступени уходили вниз, в мокрую, плотную, как загустевшая кровь, мглу, и каждый шаг отдавался в каменных стенах глухим, болезненным эхом, будто сама земля не хотела впускать его, будто древние камни помнили всё, что случилось здесь прежде, и теперь содрогались, предчувствуя новую беду. Пахло мокрым известняком, застоялой водой, ржавчиной, тленом, и чем-то ещё — сладковатым, тошнотворным, приторно-пряным, как в комнате покойника, что пролежал

не один день, как в заброшенном храме, где давно не возносили молитв, но где ещё жила память о жертвах.

Охотник шёл не спеша. Он не позволял себе торопиться, потому что знал: спешка здесь — верная смерть, а может, и нечто худшее. Плащ он оставил наверху, куртку расстегнул, чтобы не сковывала движений. Меч покоился в ножнах, но ладонь лежала на рукояти, а большой палец машинально оглаживал холодное навершие — этот жест давно стал его второй натурой, чем-то вроде молитвы, в которую он сам не верил. Он не боялся.

Он давно отучил себя от этого чувства — вытравил его из себя, как вытравливают сорную траву с поля, как выжигают заразу из раны калёным железом. Но где-то под рёбрами, глубоко и навязчиво, пульсировала тревога — не от темноты, не от близкой опасности, не от того, что он мог здесь умереть. От неё.

Её имя он так и не узнал.

Наместник не соизволил назвать его, а стражники отводили глаза, стоило только спросить. Они смотрели в сторону, переминались с ноги на ногу, кашляли в кулак, и в их глазах охотник видел не просто страх — а суеверный, липкий, детский ужас, какой бывает у людей, столкнувшихся с чем-

то, что не укладывается в привычные представления о мире. Будто боялись, что одно лишь произнесённое вслух имя накличет беду, будто звук, сорвавшийся с губ, мог просочиться сквозь каменные стены и разбудить то, что спало внизу.

И всё же охотник чувствовал: она знала, что он пойдёт. Ждала. Может, стояла сейчас где-то наверху, у окна, глядя на луну, которая серебрила мостовую, и думала о нём так же неотступно, как он о ней. А может, стояла внизу, в самой глубине, и улыбалась в темноту, чувствуя каждое сотрясение ступеней под его сапогами.

Подземелье расширилось в сводчатый зал. Каменные колонны, покрытые въевшейся сыростью, подпирали потолок, с которого свисали длинные, бурые от влаги корни — щупальца спящего города, вены, по которым текла не вода, а сама память земли, тёмная, как дёготь, и такая же горькая.

В углах шевелилась тьма — не та, что отбрасывают предметы при свете факела, а другая, живая, внимательная, наблюдающая. Тишина здесь была не пустой — она была наполненной, дышащей, как грудь спящего зверя, она имела вес и плотность, и охотник физически ощущал, как она давит на плечи, на затылок, на грудь.

Он остановился посреди зала. Огляделся. Где-то капала

вода — размеренно, неумолимо, как ход часов, отсчитывающих последние минуты чьей-то жизни. Возможно, его собственной.

— Я пришёл, — сказал он в темноту. Голос прозвучал глухо, без эха, будто стены поглотили его, будто само пространство здесь было устроено иначе, чем наверху, и звук не отражался от камня, а увязал в нём, как муха в паутине.

Тьма не ответила. Но воздух изменился. Стал плотнее, вязче, как перед грозой, как в преддверии бури, которая никогда не разразится, но всегда будет висеть на самом краю. Факел затрепетал, зашипел, и пламя потянулось в сторону, словно указывая путь — в узкий проход, зияющий чёрной пастью. Оно извивалось, как змея, как язык свечи на сквозняке, и охотник увидел, как тени на стенах пришли в движение, хотя не было ни ветра, ни иного источника движения.

Он пошёл.

Теперь он ступал по воде. Медленной, ледяной, она поднималась ему по щиколотку, и каждый шаг отзывался тихим всплеском, разлетавшимся в темноте, как шёпот. Вода была чёрной, как деготь, как чернила, как сама ночь, сгустившаяся до жидкого состояния. Она обжигала холодом сквозь кожу сапог, и охотник чувствовал, как стынут пальцы, как

немеют икры.

Стены сузились, и вскоре он касался их плечами — камень был влажным, скользким, холодным, как кожа мертвеца. Проход петлял, опускался всё ниже, извивался, как кишка неведомого чудовища, пока не оборвался у чёрного провала, из которого тянуло сквозняком — нет, не сквозняком. Дыханием. Ровным, глубоким, ледяным. Оно касалось его лица, как незримая ладонь, как прикосновение губ, которых не видно, и охотник замер, узнав этот холод.

Такой же был у неё на коже. Такой же был в её поцелуе.

Он вспомнил то утро. Рассвет только занимался, и туман стлался над мостовой, как дыхание спящего города. Она стояла у окна, босая, в этом же тёмном платье, и смотрела на него так, словно прощалась навсегда. Тогда он подумал, что это ему показалось. Что это просто игра света, усталость, что-то ещё. А теперь знал: она действительно прощалась. И он, глупец, не понял.

— Я знал, что найду тебя здесь, — сказал он, и на этот раз эхо вернулось — множеством голосов, слившихся в один, насмешливый и ласковый одновременно. Оно окружило его, вползло в уши, как ледяная вода, как шёпот, который невозможно разобрать, но который невозможно и игнорировать.

— Ты не знал, — ответила тьма её голосом. — Ты хотел.

Она вышла из провала, словно поднялась из воды. Слово сама чернота обрела форму, сгустилась в женский силуэт, и этот силуэт шагнул к нему. Босая, в том же тёмном платье, что было на ней в коридоре, но теперь оно липло к телу, мокрое, тяжёлое, очерчивая каждую линию, каждый изгиб. Волосы распущены, и с них стекали капли, разбиваясь о чёрную воду, и звук этих капель был похож на далёкие шаги, на биение сердца, на последние слова, которые не успели сказать.

Она шла к нему медленно, не отрывая взгляда, и глаза её светились в темноте — не отражённым светом, а своим собственным, глубоким, потусторонним. В этих глазах не было зрачков — только две бездонные воронки, затягивающие в себя, и охотник почувствовал, как его тянет к ней, как тонет в ней, как растворяется в этом взгляде.

— Ты пришёл убить меня? — спросила она, остановившись в шаге.

Он не ответил. Смотрел на неё, и в груди у него росло то, от чего он так долго бежал. Что убивал в себе, уходя в леса и топи. Что выжигал, как заразу. И вот — не смог. Всё, что он

делал, все эти годы скитаний, все эти бои, все эти бессонные ночи под открытым небом — всё было лишь попыткой убежать от самого себя, от этой пустоты, которую могла заполнить только она. Он понял это сейчас, стоя по колено в ледяной воде, в подземелье, где не было ни времени, ни надежды.

— Ты не сможешь, — прошептала она, и губы её дрогнули. — Ты уже мой.

Он мог. Он должен был. Его рука лежала на рукояти. Одно движение — и клинок вспорет тишину, оборвав всё разом: и её, и этот морок, и эту сладкую боль под рёбрами. Он убивал за меньшее. Он убивал за гораздо меньшее. Но сейчас рука не поднималась. Пальцы, сжимавшие рукоять, разжались, и он почувствовал, как уходит из него какая-то сила — но не та, что нужна для боя, а та, что нужна, чтобы продолжать притворяться, будто он может жить без неё.

Вместо этого он поднял руку и коснулся её лица.

Она была холодной. Как тогда, на рассвете. Как вода, что поднималась всё выше. Как первая и последняя ночь, которой не должно было быть. Холод этот был не мёртвым, не ледяным, а каким-то потусторонним, как у камня, пролежавшего века на дне реки, как у звёзд, которые светят, но не греют. И в то же время в этом холоде было что-то живое,

трепещущее, как пламя, которое горит, но не сжигает.

— Кто ты? — спросил он хрипло.

— Твоя погибель, — ответила она просто, и улыбнулась, и в этой улыбке было столько тоски, что у него перехватило горло. Так улыбаются те, кто уже не ждёт спасения, но ещё надеется на чудо. Так улыбаются те, кто видел слишком много, но всё ещё помнит, каким был свет.

Он притянул её к себе. Резко, грубо, как держат падающего с обрыва, как хватают того, кого боятся потерять навсегда. Она не воспротивилась — подалась навстречу, обхватила его шею ледяными руками, прижалась всем телом, и тьма вокруг них сомкнулась, зашептала, застонала тысячей голосов. Эти голоса были повсюду — в стенах, в воде, в воздухе, в его собственной голове. Они шептали о любви и о смерти, о вечности и о тлене, о том, что было и чего не будет никогда, и охотник не мог разобрать, где заканчиваются её слова и начинаются его собственные мысли.

— Я не могу уйти, — выдохнула она ему в губы. — Я привязана к этому месту. К подземелью. К городу. К тени, что питается мной. Я — часть этой тьмы, я — её голос, её глаза, её руки. Я не могу покинуть эти стены, не могу выйти на свет, не могу умереть, как умирают люди.

— Тогда я останусь.

— Ты умрёшь.

— Пусть.

Она замерла, отстранилась, вглядываясь в его лицо так, словно видела впервые. В тёмных глазах блеснуло что-то — не то слёзы, не то отблеск далёкого, уже несуществующего света. Это было так неожиданно, так по-человечески, что охотник вздрогнул. Он видел в её глазах не бездну, не тьму, а отражение себя самого — усталого, изношенного, но ещё живого, ещё способного на что-то, кроме ненависти и боя.

— Ты глупый, северный охотник, — проговорила она тихо. — Глупый, славный, мой.

И поцеловала его. В этот раз — по-настоящему. Не как утренний призрак, пришедший из тумана. Не как игра, не как обман, не как морок, призванный сбить его с пути. А как женщина, которая слишком долго ждала. Поцелуй был ледяным и обжигающим одновременно, и он почувствовал, как его сердце — старое, изношенное, залатанное — сжимается и рвётся, и что-то в нём ломается безвозвратно. Это был конец и начало одновременно, смерть и рождение, падение в

бездну и взлёт к вершине, и охотник не мог понять, где одно переходит в другое, да и не хотел понимать. Он просто отдался этому чувству, позволил ему поглотить себя, как вода поглощает камень, брошенный в омут.

Вода поднялась выше. Или это он опустился ниже. Тьма объяла их, и в ней они стали одним — двумя телами, сплетёнными в холодном, болезненном, невозможном объятии. Она шептала ему что-то на неведомом языке, и он не понимал слов, но понимал смысл, понимал сердцем, нутром, той частью души, о которой не знал раньше.

Он чувствовал, как его покидает тепло, как холод проникает в кости, в кровь, в самую суть, но ему было всё равно. Он был там, где хотел быть. С той, кого искал всю жизнь, сам того не зная.

Где-то далеко наверху, в просыпающемся городе, часы пробили нечто невнятное. Наступало утро, и город стряхивал с себя остатки сна, и люди выходили на улицы, не зная, не ведая, что творится у них под ногами. Но здесь, под землёй, времени не было. Были только они. И эта тяжёлая, как могильная плита, и одновременно невыносимо живая любовь.

Он не знал, сколько прошло времени — минуты, часы, века. Время здесь было таким же зыбким, как свет его догора-

ющего факела. Он держал её, а она держала его, и тьма вокруг них была не врагом, а колыбелью, не могилой, а домом. И в этом доме, где не было ни стен, ни потолка, ни пола, они были одни — и вместе.

Когда он очнулся — если это было пробуждение, — её не было. Только вода вокруг него, по грудь, чёрная и спокойная, как омут. И тонкий запах полыни, повисший в воздухе. Где-то в темноте ещё звучало эхо её дыхания, или ему это только казалось. Факел давно погас, но тьма больше не пугала его. Она стала знакомой, почти родной, как старая рана, которая болит, но уже не причиняет страданий.

— Возвращайся наверх, охотник, — раздался её голос из темноты, мягкий, как падение листа. — Возвращайся и помни.

Он закрыл глаза.

Но уходить не стал.

Потом, спустя годы, кто-то из стражников клялся, что видел в подземелье двоих: охотника с седыми волосами и женщину в мокром платье. Они шли по чёрной воде рука об руку, не разговаривая. И не было в них ничего от живых. И не было в них ничего от мёртвых. Они были чем-то третьим,

чем-то, что не имеет названия и не поддаётся описанию. Они не смотрели по сторонам, не отзывались на окрики, не замечали ни факелов, ни мечей, ни крестов. Они просто шли — медленно, неотвратно, как сама судьба, — и вода под их ногами не расходилась кругами.

Их видели и в других местах. На старом мосту, где туман по утрам спускается с гор. В заброшенной часовне, где давно не слышали молитв. На берегу реки, где вода чёрная, как дёготь, и холодная, как её поцелуй. И каждый, кто встречал их, рассказывал одно и то же: они шли рядом, не говоря ни слова, и смотрели только друг на друга, и не было в них ничего от тех, кого мы называем живыми, и не было ничего от тех, кого мы называем мёртвыми.

А наверху, в кабинете наместника, на столе лежала никем не тронутая, но вдруг осыпавшаяся в прах старинная печать. И пахло от неё пылью и сырой землёй. И сколько её ни собирали, сколько ни пытались склеить, она рассыпалась снова, как будто само время отказалось от неё, как будто она принадлежала уже не этому миру.

А ещё говорят, что по ночам в подземелье слышен шёпот. Два голоса, сливающиеся в один. Они говорят о чём-то, но слов не разобрать. И лучше не пытаться их разобрать, потому что тот, кто услышит и поймёт, уже никогда не сможет

жить как прежде. Он будет ходить по улицам, работать, разговаривать с людьми, но мысли его будут там, внизу, в темноте, где двое идут рука об руку по чёрной воде.

Эта история не о чудовище. Она о том, как любовь становится бездной, и о том, кто решил в неё шагнуть. И о том, что иногда спасение — это не свет, а готовность утонуть вместе.

Он остался.

Не потому, что не мог уйти. Не потому, что тьма держала его, вцепившись в лодыжки невидимыми руками. Не потому, что подземелье не выпускало. Оно, наоборот, дышало ему в спину, подталкивало к выходу, нашептывало: «Ступай, пока жив». Но он не двинулся. Стоял по грудь в чёрной воде, и вода эта была тёплой, как слёзы, и тяжёлой, как вина. Факел давно угас — не зашипел, не задымил, просто перестал гореть, будто сам испугался того, что здесь произошло. А охотник всё стоял, и вокруг него смыкалась тишина, но не враждебная, не хищная, а тишина ожидания. Словно само подземелье затаило дыхание и ждало, что он сделает дальше.

Он не знал, сколько прошло времени. Может, минуты. Может, дни. Во тьме время не течёт, оно набухает, как гнойная рана, и лопаётся внезапно, оставляя после себя пустоту и звон в ушах. Он помнил только её губы — ледяные и об-

жигающие, и её глаза, в которых отражалось нечто древнее, голодное, измученное. Она поцеловала его, а потом ушла. Не растворилась, не растаяла, а просто ушла в темноту, оставив после себя этот проклятый запах полыни, который теперь въелся в его кожу, в ноздри, в самую ткань лёгких. И он понял: сколько бы он ни прожил, этот запах останется с ним до конца.

Он выбрался из воды. Это было трудно — не потому, что тело ослабло, а потому, что вода не хотела его отпускать. Она обнимала его, как любовница, лениво и настойчиво, цеплялась за одежду, за сапоги, за каждый шаг. Но он упрямо шёл вперёд, не зная, куда именно. Просто шёл, потому что стоять было невозможно.

Подземелье изменилось. Прежде оно было просто лабиринтом из мокрого камня и гниющих корней — теперь же стало чем-то живым. Стены дышали. С потолка капало не водой, а чем-то густым, вязким, с металлическим привкусом. В темноте то и дело мелькали тени — быстрые, юркие, как ускользающие мысли. Охотник знал: это не твари. Это воспоминания. Её. Чужие. Обрывки чьей-то жизни, застрявшие в этом месте, как мухи в янтаре.

Он видел их краем глаза: фигуры, жесты, лица. Вот женщина бежит по коридору, подхватив подол, и смеётся. Вот

мужчина поднимает кубок, и вино льётся через край. Вот ребёнок, босой и грязный, смотрит на него с укором. Все они были здесь, все — пленники этого места, все — часть её. Или она была частью их. Охотник не разбирался. Он просто шёл, и с каждым шагом его собственная жизнь казалась ему всё более чужой, всё более далёкой, как сон, увиденный в детстве.

Он вышел к реке.

Под землёй, в самом сердце каменной толщи, текла река — широкая, чёрная, бесшумная. Она не бурлила, не плескалась, а текла величаво, как само время, и по её поверхности скользили бледные отблески, хотя света здесь не было. Охотник опустился на колени у кромки и всмотрелся в воду. Оттуда на него глянуло лицо — не его. Другое. Молодое, измождённое, с тёмными глазами, в которых не было ни страха, ни надежды. Он моргнул, и лицо исчезло, оставив только рябь.

Он сел на камень. Холодный, мокрый, поросший чем-то склизким. Положил меч на колени и закрыл глаза. Ему не хотелось ни есть, ни пить, ни дышать. Ему хотелось только одного — чтобы она вернулась. Чтобы снова коснулась его. Чтобы снова этот невозможный холод, от которого внутри всё сжимается и рвётся. Он понимал, что это безумие, но

безумие было единственным, что осталось ему здесь, в этом мире, где всё остальное утратило смысл.

И она вернулась.

Не сразу. Сначала он слышал её шаги — лёгкие, босые, по мокрому камню. Потом почувствовал её запах — уже не полынь, а что-то другое, тёплое, горьковатое, как дым от сырых дров. Открыл глаза. Она стояла по ту сторону реки, на противоположном берегу, и смотрела на него. Теперь в ней не было ничего от утреннего призрака. Она была настоящей. Слишком настоящей. Женщина из плоти и крови, с мокрыми после подземной сырости волосами, с потрескавшимися губами и синяками под глазами. В простом сером платье, босая, с руками, испачканными в чём-то тёмном.

— Ты не ушёл, — сказала она.

— Нет.

— Напрасно.

— Возможно.

Она помолчала. Река между ними текла неслышно, и в этом молчании было больше слов, чем в тысяче разговоров.

— Меня зовут Эйра, — произнесла она наконец. — Когда-то у меня было другое имя, но я его забыла.

— Меня зовут Кайн, — ответил он.

— Кайн, — повторила она, пробуя имя на вкус. — Это имя с севера.

— Да.

Она опустила руку на корточки у воды, провела по ней пальцами. Река отозвалась лёгким свечением, и охотник увидел, как из глубины всплывают бледные, полупрозрачные цветы — не то кувшинки, не то призраки цветов, распустившиеся от её прикосновения.

— Знаешь, что это за река? — спросила она, не поднимая глаз.

— Нет.

— Это река мёртвых. По ней уходят те, кто не нашёл покоя. Они плывут на дне, под самой поверхностью, и ждут, когда их позовут.

— Ты их звала?

— Звала. Когда было невыносимо.

Он поднялся, подошёл к кромке. Река дышала, и от неё пахло сырой землёй и чем-то сладковатым, как от гниющих яблок. Эйра всё ещё сидела на том берегу, и между ними была только эта вода — чёрная, безмолвная, наполненная мёртвыми.

— Я убил многих, — сказал он. — Но никогда не думал о том, куда они уходят. Теперь вижу. Эта река ведёт их в никуда.

— Нет, — покачала она головой. — Она ведёт их в забвение. Иногда это лучше, чем покой.

Он смотрел на неё и чувствовал, как внутри него зреет что-то тёмное, острое, как заноза. Он хотел спросить её о главном — о том, почему она пришла к нему на рассвете, почему явилась не убивать, а ласкать, почему её кожа была холодна, а губы — горячи, почему она смотрела на него так, будто знала его тысячу лет. Но слова застревали в горле, как кости. Он стоял и смотрел, и в этом взгляде было всё, что он не мог сказать.

Она поняла.

— Я не выбирала тебя, — проговорила она тихо. — Ты сам меня выбрал. Ещё до того, как пришёл в этот город. Ещё до того, как родился. Мы связаны, Кайн. Ты и я. Не случайно ты оказался в «Под щукой». Не случайно уложил троих. Не случайно мой отец отправил тебя сюда.

— Твой отец знает?

— Он знает, что я здесь. Что я не та, кем притворяюсь. Но он не знает, что я — это я. Он думает, я пленница подземелья, жертва, которую он не может освободить. Он не понимает, что я и есть подземелье. Что эти стены — мои рёбра, а река — моя кровь.

Охотник вздрогнул. Он слышал о таких существах — нечисть, что становится местом, в которое поселилась. Но никогда не верил. Или не хотел верить.

— Ты — тварь? — спросил он, и голос его прозвучал глухо, как удар кулака в стену.

— Я — Эйра, — ответила она просто. — Тварь — это то, что во мне. Оно спит, но просыпается, когда я злюсь. Или когда люблю.

— Поэтому ты не можешь уйти?

— Поэтому я не должна любить. Любовь будит его. А когда оно просыпается, я перестаю быть собой.

Он замолчал. Где-то вдалеке, в глубине подземелья, слышался низкий, утробный гул. Река пошла рябью, и цветы-призраки задрожали, как от подземного толчка. Эйра поднялась, и охотник увидел, как её глаза на мгновение вспыхнули алым, чтобы тут же снова стать тёмными, бездонными.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.